

УДК 343.32
ББК 67.99
К44

Серия «Бандитская Россия»
Дизайн обложки: *Юлия Межова*

Кисин, Сергей Валерьевич

К44 Ростов-папа. История преступности Юга России / Сергей Кисин.—
Москва: Издательство АСТ, 2019.— 476, [2] с.— (Бандитская Россия).

ISBN 978-5-17-115432-5

Ростовский преступный мир всегда имел собственное лицо и уникальный, отличный от других крупных городов России «криминальный парфюм». С одной стороны, здесь было все, что полагается отечественной босоте и джентльменам удачи всех времен и народов: грубость, жестокость, цинизм, неразборчивость в средствах, ненависть к закону и его носителям, презрение к тем, кто не рискует поставить себя выше этого закона и жить «правильной» жизнью, по понятиям. С другой — донскую преступность всегда отличали пресловутые «ростовские понты»: лихость, бесшабашность, склонность к ярким рисовкам, показухе на грани авантюризма, неумеренность в веселье, изящество и профессионализм в работе, строгая иерархия и умение договариваться. Именно эта сторона и принесла городу затейливое прозвище «Ростов-папа», утвердившееся в криминальном мире России.

© С. В. Кисин, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

РОСТОВСКИЕ ПОНТЫ ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Понятие «Ростов-папа» уже более века является паттерном для многих поколений россиян. Да и не только. В начале 2017 года аналитики сайта Worldatlas составили рейтинг десяти самых криминальных городов мира. В преддверии планетарного футбольного первенства 2018 года это было весьма актуально. Ростов возглавил данный рейтинг. Насколько выводы аналитиков корректны и репрезентативны на фоне тяжеловесов вроде условных Гонконга, Токио, Мехико, Лос-Анджелеса, Марселя, Мумбая, Бангкока и т. п., это большой и спорный вопрос. Но несомненной аксиомой является тот факт, что почетный титул «папы» Ростов заслужил за все свое долгое существование в статусе одного из важнейших криминальных центров России. Здесь появился на свет и был выпестован яркий, ни на какой другой не похожий архетип классического представителя отечественного преступного мира, получивший наименование «ростовского честного босняка». В жизни которого всегда превалировали три источника и три составные части: никогда не жаловаться на жизнь, никогда не идти на сделку с совестью и никогда не предавать другого честного босняка.

Именно этот набор отличительных черт, особенностей и предрассудков оказался накрепко объединен столь узнаваемым термином «ростовские понты».

Ростовский преступный мир всегда имел собственное лицо и уникальный, отличный от других крупных городов России

«криминальный парфюм». С одной стороны, здесь было все, что полагается отечественной босоте и джентльменам удачи всех времен и народов: грубость, жестокость, цинизм, неразборчивость в средствах, ненависть к закону и его носителям, презрение к тем, кто не рискует поставить себя выше этого закона и жить «правильной» жизнью, по понятиям. С другой — донскую преступность всех уровней всегда отличали пресловутые «ростовские понты»: лихость, бесшабашность, склонность к ярким рисовкам, показухе на грани авантюризма, неумеренность в прогуливании награбленного, изящество и профессионализм в работе, будь ты ширмач-карманник или налетчик-вентерюшник¹, строгая иерархия и умение договариваться (с коллегами, конкурентами, полицией, властями, духовенством, фраерами-жертвами и пр.) в различных ситуациях. Там, где в иных городах и всякх беседе вел исключительно «товарищ маузер», в Ростове компромисс находился на воровских сходнях-толковищах, в ресторанах, банях.

Дореволюционный ученый-правовед, профессор Московского университета Михаил Гернет писал: «Столицы и большие города — главное русло течения преступности страны. Мы говорим „главное русло“ потому, что они всегда и везде были не только сосредоточением в них значительной части преступности всей страны, но и местом, где некоторые формы преступности находили свою излюбленную „резиденцию“ или куда они прибывали, чтобы „блеснуть“ здесь своим особым блеском, своею изобретательностью, своею нередкою чудовищностью и удивить даже и тех, кто привык ко всяким видам и кого, казалось, более уже ничем не удивишь».

Ростовский криминалитет никогда не вмерзал в айсберг консерватизма, а постоянно старался эволюционировать в зависимости от изменений внешних обстоятельств. Всегда будучи в тренде, дабы не оказаться в могиле. Оттого и степень договороспособности у него была выше, чем у его коллег из иных регионов. По той же причине и «бандитских войн» было гораздо мень-

¹ На с. 462—471 «Толковый словарь ростовских уголовников».

ше. Совсем как у Евгения Кемеровского: «Братва, не стреляйте друг в друга, вам нечего в жизни делить».

В Ростове не принято было мериться длиной стволов и пик, зато с особым удовольствием всегда мерились понтами. Местным уркам важно было не просто «подломить магазуху», а сделать это оригинально, нестандартно, с выдумкой, дабы поразить обывателей и пустить пыль в глаза коллегам. Мошенники придумывали сотни способов обмана фраеров, карманники изобретали десятки отвлекающих жертву маневров, домушники норовили проникнуть в помещение чуть ли не через замочную скважину и дымоход, чтобы поддержать реноме и «колотнуть понтяры». Распространенными ростовскими понтами были порой целые эпистолы, которые жульманы либо оставляли на месте преступления, поддразнивая жертвы, либо отсылали их в полицию, провоцируя фараонщиков. Мол, знайте, сявки, с кем имеете дело, а нам на вас наплевать с ростовской колокольни.

В местной дореволюционной прессе «понты» отмечали, пожалуй, даже с оттенком похвалы: «Таких воров, как в Ростове, больше нигде нет... Скажите, где еще ухитрятся, пока вы мирно почиваете в комнате, из гостиной утащить ваши ботинки и платье? Где ухитрятся присвоить кипящий на вашей террасе самовар со всем чайным прибором и даже с банкой только что сваренного варенья? Где „рыцари индустрии“ столь изобретательны, что не боятся даже электрических капканов и решительно ни в грош не ставят никаких запоров?.. Если мне даже скажут завтра, что какой-нибудь вор ухитрился вытащить в оконную форточку концертный рояль Беккера, — я поверю без рассуждений.

Для ростовских воров нет ничего невозможного».

Для истинного ростовского правильного бродяги с цыганским складом природы все же была характерна тяга к малой родине. К родным местам, хотя и не к конкретным людям. Люди предадут, родные же стены — никогда. Даже язык его заметно отличался от обычного южнорусского говора.

По языку да по одежке ростовцы (именно «ростовцы» — так жители города-папы величались до революции) безошибочно опознавали друг друга. Одежда — такая же неотъемлемая часть ростовских понтов, как и любой дорогой аксессуар. Классиче-

ские голодранцы-босяки в начале XX века оставались в прошлом. Даже шпана мелкого пошиба следила за правильным прикидом.

Известный ростовский исследователь уголовного мира Александр Сидоров (Фима Жиганец) так описывает местных уркаганов: «Прежде всего, это были чрезвычайно аккуратные люди. Всегда в кипенно-белой или модной клетчатой сорочке, длинном — часто тоже клетчатом — пиджаке, в тщательно отглаженных „шкарах“ (брюках), заправленных в сверкающие „прохоря“ (сапоги) особым образом — с легким напуском. Сами сапоги были обязательно „гармошкой“, или, как тогда выражались, „зашилены третями“ — то есть сжаты как бы в три слоя. Ансамбль завершала кепка-восьмиклинка (сшитая из восьми кусков материи, с маленьким козырьком) и изящный белый шарф. Галстук, „босяки“ не признавали категорически».

Воры более серьезных мастей и вовсе мало чем отличались от ложивших мостовую утонченных ростовских денди-саврасов. Их специализация требовала следить за последними веяниями моды в одежде и прическе, дабы сходить за равного в самом изысканном обществе. Заподозрить в ком-то из них ловкого афериста или взломщика никому не приходило в голову. Поэтому столь часто в ростовских гостиных и салонах выявлялись в роли гостей отпетые жулики. Конечно, уже после того, как хозяева обнаруживали пропажу ценностей или понимали, что затеяли вроде бы выгодную коммерцию с хорошо воспитанными проходимцами. Оценивать уровень разбросанных понтов на месте преступления приходилось уже полиции или восхищенным «коротким жакетам» (как называли криминальный элемент в Ростове) с воровской Богатыновки.

По меткому выражению местных обывателей, «если бы понты светились, то в Ростове были бы белые ночи». Фраза, рожденная в воровских малинах, со временем перекочевала в обычную небосяцкую жизнь.

Понтами мерились известные купцы Гавриил Мелконов-Езеков и Карапет Чернов, поспорившие, кто построит самый большой и красивый дом в городе (один напротив другого). Понты раскидывал негоциант, картежник и кутила Петр Степаненко, владелец первого автомобиля в Ростове, спустив-

ший в июле 1903 года два вагона сахара на мостовую, чтобы покататься на санях «по снегу» с веселыми девицами. Понты колотили скотопромышленники, коннозаводчики, мукомолы, парходчики, зерноторговцы, на собственный кошт (ни в коем случае не в партнерстве) строившие в городе театры, больницы, училища, храмы.

«Понты дороже жизни»,— говорят в Ростове на протяжении нескольких веков, приобретая на последние средства кровных рысаков, модные турнюры, сверкающие гарнитуры, хромированные авто, а спустя эпоху и навороченные тачки, крутые «котлы», клевый прикид, шикарные гаджеты и иные бесценно-бесполезные безделушки, преследующие цель пустить пыль в глаза и создать имидж держателя пакета акций собственной жизни на паритетных началах с Господом Богом.

Понты настолько срослись с ментальностью ростовцев, что даже в наши дни министр спорта советовал городским властям принимать инспекционную делегацию ФИФА перед чемпионатом мира 2018 года «только без этих ваших ростовских понтов».

Но вот как раз без них никак нельзя. «Белые ночи» обязывают. Ибо Ростов еще с колыбели «город-торгаш», а потому и «город-вор». Одно с другим идеально уживается, и понты присутствуют обоим. Торгаши и воры, как большая белая акула и ремора-прилипала, плыли по жизни, промышляя хищничеством и паразитизмом. В вечном противостоянии побуждая друг друга к хитроумному ловкачеству и прогрессивной изобретательности.

Еще в 1893 году здешний историк и публицист Григорий Чалхушьян отмечал: «Торговля здесь явилась раньше, чем поселение, и поселение с самого начала уже носило торгово-промышленный характер. Но город разросся благодаря наплыву разного звания людей. Эти люди приписывались в ростовские мещане, и в то время, когда купечество здесь твердо установилось и стало коренным местным населением, прилив людей в мещане по-видимому усиливался. Ростовский купец — старожил, ни история его, ни биография никому не известны; Ростовский же мещанин — новый человек, его история и биография известны каждому, либо он клейменный, либо помещичий человек, либо

разжалованный поп, или вор казак. На всем Ростовском мещанстве вдруг легло пятно весьма сомнительного происхождения».

«Ростовский Гиляровский», журналист Алексей Свирский признавался: «Этот город крупных жуликов и мелких мещан сводит меня с ума!»

Может, поэтому к началу XX века местное купечество стало одним из самых зажиточных и оборотистых в империи, а местный криминалитет — одним из самых влиятельных и уважаемых в своих кругах. Конечно же, не благодаря понтам, а в силу необычайной сообразительности, целеустремленности, жесткости и коммуникабельности. Помноженных на южную пронырливость, брутальность, непосредственность и способность к адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам. Именно эти качества как раз и свойственны «крупным жуликам» и «мелким мещанам» Свирского. И те и другие выросли из одной колыбели, и порой лишь случайные обстоятельства разводили их по разные стороны скамьи подсудимых.

Мы постараемся рассказать о той стороне жизни Ростова, о которой не принято было распространяться, стыдливо отводя взор и делая вид, что это приличных людей не касается. Однако именно эта сторона неизменно вызывала, пусть и опасливый, интерес обывателей, стремившихся приподнять покров тайны, чураясь и осеняя себя крестным знамением. Именно эта сторона и принесла городу затейливое прозвище «Ростов-папа», утвердившееся за два века криминальной истории множества разбойников, налетчиков, карманников, домушников, мошенников, фальшивомонетчиков, шулеров, взломщиков, воров самого высокого класса и самого романтического склада. Такова жизнь страны, в которой блатную речь можно услышать повсюду — от бабушек на дворовой скамейке до министерских кабинетов.

Часть первая

ПАПА В ФАС

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Однако, как говаривал философ Рене Декарт, «сначала давайте определимся в понятиях, чем избавим человечество от половины заблуждений». Есть смысл обсудить то, что сразу же бросается в глаза при контактах с представителями уголовного, в каком-то смысле инопланетного, мира. Точнее, то, что льется в уши.

Особый интерес у многочисленных исследователей всегда вызывал специфический язык преступного сообщества, развивающийся одновременно с босяцкой субкультурой России на протяжении столетий. За это время отечественная уголовщина не только разродилась собственной субкультурой, но и выпестовала целую коммуникативную систему, позволявшую безошибочно определять собеседника по принципу свой-чужой. Это характерно не только для россиян. Своим особым арго (по-французски — *argot*) пользовались и средневековые французские бродяги-коккийяры, из среды которых вышел великий поэт Франсуа Вийон (у него есть даже несколько стихотворений на этом наречии, до сих пор не расшифрованных), и греческие контрабандисты, и итальянские мафиози, и японские якудза. Профессиональный сленг, который не могли бы распознать чужие, имелся у членов средневековых цехов, мастеровых, торговцев, ростовщиков, коннозаводчиков-барышников, моряков, военных и др.

У писателя Рафаэлло Джованьоли в романе «Спартак» готовящие мятеж в Капуе гладиаторы общаются друг с другом на специфическом жаргоне, совершенно непонятном для непосвященных. У Виктора Гюго в романе «Отверженные» парижская

банда «Петушиный час» сыпала такими загогулинами, что даже кокийярам не снилось: «Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнуручек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнуручек наружу, нырнуть, подрумяниться — тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!»

Сам Гюго уверял, что «арго — это язык тьмы». Той самой, откуда на свет божий выползают обитатели параллельного государства в государстве.

В полиции Пруссии в XIX веке даже было высказано предложение «у всех мошенников разорвать барабанную перепонку в ухе», дабы те не могли общаться между собой на арго. В королевской берлинской тюрьме сидевшие на разных этажах в одиночках два поляка через перестукивание на арго умудрялись даже играть в шахматы.

На Руси собственным языком пользовались новгородские разбойники-ушкуйники, распотешные скоморохи, суровые поволжские жгоны (валяльщики валенок), бродячие офени (коробейники). Последние, по одной из версий, как раз и дали название русской фене.

Знаменитый авантюрист и мошенник Василий Трахтенберг (который в начале XX века продал французскому правительству несуществующие марокканские рудники), составитель толкового словаря «Блатная музыка», утверждал, что нашел в рукописях XVII века шрифт офеней — особый «язык картавых проходимцев». Из него можно было узнать, что «котюры скрыпы отвандают, поханя севрает шлякомова в рым, нидонянь дрябку в бухарку, гируха филосы мурляет, клюжает и чупается». И всем офеням сразу понятно, что надо спешить, ибо «ребята ворота отворяют, хозяин зовет знакомого в дом, наливает водку в рюмку, хозяйка блины печет, подает и кланяется». А уж когда пройдет гулевище, надобно напомнить: «Масья, ропа кимат, полумеркоть, рыхло закуренщать ворыханы». И хозяйка, кряхтя, должна подниматься, понимая, что уже полночь, офенской братве пора убираться, пока

не запели петухи. Шпион-послух может спокойно отдыхать, ни бельмеса в этом не понимая.

Как раз красочные офенские обороты и были положены в основу русского арга — фени, на которой сегодня «ботают» все — от школьницы до президента.

Впрочем, феней она стала уже в XX веке. А в эпоху Ваньки Каина и благородного разбойника Владимира Дубровского лихой люд не по «фене ботал», а «ходил по музыке». Свой профессиональный жаргон отечественная уголовщина ласково величала «байковым языком» или «музыкой». Они не разговаривали-беседовали-общались, а «ходили по музыке».

У Всеволода Крестовского в романе «Петербургские трущобы» варнаки в притоне между собой договариваются о нападении:

«Не дело, сват, городишь, — заметил на это благоразумный Викулыч. — С шарапом недолго и облопаться да за буграми сгореть. Лучше пообождать да попридержаться — по-тиху, по-сладку выследить зверя, а там — и пользуйся.

— А не лучше ль бы поживее? Приткнуть чем ни попало — и баста!.. У меня фомка востер! — похвалился Гречка».

«Музыка» шлифовалась годами и видоизменялась вместе с «великим, могучим, правдивым и свободным», включая в себя новые слова и обороты, распознаваемые лишь посвященными. Если обычная музыка людей объединяла, то «блатная музыка», напротив, сознательно отгораживала «мазурский мир» не только от полиции и их агентов, но и от остальных обывателей, ставя себя выше закона и вне общества. «Ходившие по музыке» считали себя людьми исключительными. Практически представителями иной религии, адепты которой предпочитали жить за счет того самого общества, от коего они дистанцировались с помощью лингвистического субстрата, замешенного на цинизме, изворотливости, подлости, жадности, лютости.

«Музыка» представляла собой жгучую семантическую смесь из остроумных площадных и острожных терминов, в которых, по выражению дореволюционного исследователя блатной лексики Сергея Максимова, «столь обычная тюремным сидельцам озлобленность обнаруживается уже в полном блеске».

Офенская лексика включала в себя множество заимствований из других языков, умышленно переименованных на максимально непонятный лад. В то время как «блатная музыка» строилась на привычных словах в непривычном для них смысле.

Профессиональные торговцы-офени XVII века для арифметического счета нередко пользовались греческими словами, популярными в тогдашней, привычной к византийскому влиянию России: 1 — екои, 2 — здю, 3 — стрем, 4 — кисера (по-гречески, тэсэра), 5 — пинда (по-гречески, пэндэ), 6 — шонда, 7 — сезюм, 8 — вондера, 9 — девера, 10 — декан (по-гречески, дека).

У блестящих острожным остроумием мазуриков XIX века счет и денежные единицы больше ассоциировались с визуальным рядом: «трека» — трехрублевая ассигнация, «синька» — пятирублевая, «канька» — копейка, «гроник» — грош, «трешка» — 3 копейки, «пискарек» — медный пятак, «жирманщик» — гривенник, «ламышник» — полтинник, «осюшник» — двугривенный, «жирмабеш» — четвертак, «царь» или «колесо» — целковый, «рыжик» — червонец, «сара» — полуимпериал, «капчук» — сторублевка, «косуля» — тысяча.

Офени советовали: «Клева капени по лауде», в то время как «музыканты» переводили: «Клево наверни по чердаку». А мы сказали бы, что один варнак посоветовал другому как следует врезать жертве по голове.

Офени требовали: «Еперь у каврюка чуху», мазурики шептали: «Стырь у грача теплуху». И мы могли бы догадаться, что предстояла кража шубы.

Офени рекомендовали: «Стрема, хлизь в хаз, бо смакшунит кичуха», босяки шипели: «Мокро, ухряй на хазу, а то сгоришь на киче (или на дядиной даче)». И урки пулей бросались прятаться по норам, дабы не угодить в каталажку.

За полтора столетия из офенского в воровской сленг перекочевала масса слов: «кича», «кругляк», «лох», «мудак» (одно из наименований мужика), «хрен», «бусать» (бухать), «шпынь» и другие.

Байковский язык с середины XIX века начал проникать в Центральную Россию «из-за Бугров» (Уральских гор), из арестантских рот, сибирской ссылки да с сахалинской каторги.

Отсидевший в 1850—1854 годах в Омском остроге Федор Достоевский познакомил широкую публику с языком кандалников в своих «Записках из Мертвого дома». Именно от него рафинированные отечественные нигилисты узнали об образе жизни деклассированной прослойки общества.

На презентованном Достоевским языке честных бродяг это называлось «служить у генерала Кукушкина». То есть, подобно лесной кукушке, скитаться по белу свету, не отягощая себя детьми и домом.

Через 10 лет свет увидели «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского, где столичная «шпанская публика» являет миру просто жемчужины босяцкой речи, которых «не взять» без специального переводчика: «Вечор я было влопался, насили фомкой отбился, да спасибо звонок поздравил каплюжника дождевиком» (вчера вечером я было попался, да оборонился ломом, а мальчишка запустил в полицейского булыжником).

Анархиствующий князь Петр Кропоткин, будучи в 1860-х годах секретарем комиссии по подготовке реформы тюрем, писал в своей книге «Тюрьмы, ссылка и каторга в России»: «...из годового отчета Министерства Юстиции за 1876 год мы узнаем, что из 99 964 лиц, арестованных в течение года, только 37 159, т. е. 37%, могло быть привлечено к суду, и из них еще 12 612 оправдано. Таким образом, более 75 000 человек было подвергнуто аресту и заключению в тюрьму без какого-либо основательного к тому повода; а из общего числа около 25 тысяч человек осужденных и превращенных в „преступников“, большое количество (около 15%) мужчин и женщин просто нарушили установление о паспортах или какую-нибудь стеснительную меру нашего правительства».

Иными словами, за год 100 тысяч из 75 миллионов жителей империи надолго, порой на годы, окунулись в острожную атмосферу без всякого решения суда, где переняли не только нравы, но и байковый язык тамошней публики. 75 тысяч из них вернулись, если повезло, в течение года, на волю и пустили «музыку» гулять по ушам своих земляков да соплеменников. Из года в год музыкальные пласти наслаивались на повседневную речь, врастая в нее, пуская корни и прививая иноязычные ветви.

Живший на Сахалине в 90-х годах XIX века и исследовавший язык местных сидельцев Влас Дорошевич (который в начале XX века работал репортером в одной из ростовских газет «Приазовский край», с космическим на тот момент гонораром — 100 рублей за фельетон) писал: «У каторги есть много вещей, которых посторонним лицам знать не следует. Это и заставило ее, для домашнего обихода, создать свой особый язык. Наречие интересное, оригинальное, создавшееся целыми поколениями каторжан, в нем часто отражается и мирозерцание и история каторги. От этого оригинального наречия веет то метким добродушным русским юмором, то цинизмом, отдает то слезами, то кровью».

Систематизировать «блатную музыку» в России пытались неоднократно. Ее первые «ноты» зазвучали со страниц автобиографии самого Ваньки Каина (издана в 70-х годах XVIII века). Знаменитый вор-расстрига объяснял читателям, что «брат нашего сукна отправлялся на черную работу, где мог пошевелить в кармане, а порой и попотчевать сырого гостинцем» (вор ходил на дело, обчищал карманы, но иногда мог жертве и врезать кистенем). Если дело срывалось, случалась «мелкая раструска, и брат рисковал угодить в немшону в „Стукаловом монастыре“» (в случае опасности вор-«купец пропалых вещей» мог загромоздить застенок Тайной канцелярии).

Его люди передавали в присутствии тюремщиков угодившим в «Стукалов монастырь» вора-неудачнику: «Трека калач ела, стромык сверлюк страктирила». И узник понимал, что в переданном ему калаче спрятаны запеченные в тесте ключи, чтобы отомкнуть замок кандалной цепи.

Ширмачи-карманники каиновской эпохи имели почти полторы сотни различных жаргонизмов. Ванькина «музыка» включала в себя лишь старославянские, финно-угорские, офенские, скоморошьи жаргонные «ноты». Множество диалектизмов употреблялись в различных регионах тогдашней России в обычной речи: «лярва» (харя на колядование), «на кой ляд» (апелляция к нечистой силе), «стерва» (дохлятина, падаль), «обапол» (вздорный человек), «огудина» (канат), «лататы» (побег), «локш» (неудача, провал), «крутить восьмерики» (жернова на мельнице),